

Максим Горький

Экзекуция



Максим Горький

Экзекуция

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2132775

Аннотация

«Май был сухой, дождь только дважды оросил жёсткий суглинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, всё более медленно пошли длинные, жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему...»

Содержание

Максим Горький

Экзекуция

«Экзекуция – исполнение судебного решения».

Словарь юридических терминов.

Май был сухой, дождь только дважды оросил жёсткий су-глинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, всё более медленно пошли длинные, жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему.

– Видать, и семян не воротим, – уныло соображали хозяева Дубовки, глядя на взъерошенные скудными всходами ключья своей земли, – она даже в урожайные годы давала тридцать пять – сорок пудов при посеве восемь – десять на десятину.

Удобрять её нечем было, скота мало, лошадные мужики ездили за сорок две версты в город и, покупая там навоз у дворников купеческих домов, немножко подкармливали свои наделы, даже платили навозом безлошадным беднякам за батрацкую работу. Вообще Дубовка жила трудно, как и многие деревни этого скудного уезда, а волость, в которую включалась Дубовка, особенно славилась бедностью и частыми продажами имущества крестьян за недоимки. Из

пятидесяти двух семей Дубовки половина мужиков осенью уходила в город колоть дрова мещанству по 15–20 копеек за погонную сажень, весной – набивали погребов снегом, скалывали грязный лёд на улицах, хватались за всякую работу, только б сохранить семье лишний кусок хлеба. Зимой плели лапти из лыка, тайно надранного в монастырском лесу, плели вентели для ловли рыбы¹ и корзины из прутняка, нарезанного в оврагах. Бабы нередко уходили в город в прислуги, и многие приживались там, бросая мужей.

Дубовка прикрепилась на извилистом берегу какой-то древней реки, она капризно избородила землю долинами, оврагами, построила холмы, и от неё осталась узенькая, почти пересыхавшая летом двуимённая речка Юла, или Безымянка. Весною Юла собирала в себя ручьи с полей и, пополняясь рыжей, глинистой водою, ежегодно обрывала, обламывала берега, понемножку сокращая площадь посевов и узкую полосу лугов. Бедность и убожество Дубовки никого не удивляли, – деревня славилась дерзостью мужиков, пьянством и сердитым отношением к ней начальства, – начальство сердилось не только за неплатёж налогов, а и за то, что считало мужиков Дубовки кляузниками, склочниками, любителями судиться.

Был в Дубовке свой мудрец, солдат Ераков, защитник Севастополя, маленький, тощий, с бритым подбородком и ба-

¹ Вентель, также вентерь, мережа, морда – рыболовный снаряд, сетчатый кошель на обручах с крыльями – *Ред.*

ками, с длинным носом дятла и сердитыми глазами под навесом седых бровей, человек гордый, уверенный в своей мудрости. Прилепился он на околице деревни в хорошей избе с большим огородом, имел десять колодок пчёл, любил читать псалтырь по усопшим, учил людей правилам хорошей жизни и терпеть не мог детей. В огороде у него работали бабы-соседки и старуха, вторая его жена, забитая героем до полной глухоты. Он рассказывал, что дубовцы были переселены на эту неплодородную землю из Смоленской губернии после войны с Наполеоном в наказание за бунты и что до воли, до 61 года, он в Дубовке был «бурмистром», но никто из стариков слова «бурмистр» не понимал и Еракова начальником крестьянства не помнил. Как многие из деревенских мудрецов той поры, он объяснял тяжесть и горе деревенской жизни очень просто.

– Забаловались люди. Не верят ни в бога, ни в беса, живут для брюха. И царя не жалеют, а царь об нас печётся – волю дал, думал – народ богаче будет. Ну – ошибся его императорское величество. Молодой был, добрый, в молодости и волчонок добёр. При помещиках – лучше жили, тогда власть была у мужика на воротах, а не в городе. Помещик знал: от голодного мужика, как от козла, ни шерсти, ни молока. Он ходил по земле своей с палочкой и всё видел: одному – поможет, другому – по шее наложит. Ну, люди и жили в порядке. А теперь вот земство завели, а оно, земство-то, на даче сидит, в карты играет с вечера до утра. Свечки в стеклянных

пузырях жгут, чтобы насекомое не беспокоило. Сам видел это баловство. А мужики с помещиками судятся, чего никогда не было.

Кроме Еракова, был ещё мудрец Серах Девахин, портной, птицелов, охотник, мужик дикого вида: широкоплечий, но сутулый и плоскогрудый, как будто раздавленный. Ходил он по земле не торопясь и как-то неуверенно раскачиваясь на длинных ногах; лицо имел высоколобое, стиснутое густейшей светло-русой, как бы полинявшей бородой, он вообще был чрезмерно волосат, кустики волос росли у него даже на пальцах рук. Портной, а сам одевался неряшливо, в какие-то грязные и рваные лохмотья, точно на показ своей бедности. Ему было за сорок лет, но солидные люди звали его – Серёжка. Странно было видеть на узком лице Сераха большие и очень красивые синеватые бабьи глаза, его глухой тяжёлый голос и дикий вид никак не совпадали с мягкой улыбкой этих глаз. Он был любимцем женщин и парней. Это они наименовали его Серахом, всегда внимательно слушая его размышления и, должно быть, считая «блаженным». Покуривая пятаковую глиняную трубку на длинном самодельном чубуке, он гудел, глядя в землю:

– Вчерась в лесу выбрал сухое местечко – лёг, уснул. Проснулся – гляжу: гриб стоит, крепенький такой молодчик, белый гриб. А когда ложился я – не было его. Вот, ядри вашу долю, гриб три часа растёт, а жеребёнок года.

Матерно он ругался редко, а когда его спросили, почему

он говорит «ядри», «ядрит», – объяснил:

– Ядро – значит зерно, самая суть. Ядри – стало быть, крепь, грей, накаливай, как, примерно, кузнец. Не накалишь – не скуёшь. Это и людей касаемо.

Такие его речи были мало понятны, но привлекали молодёжь тем, что не похожи были на обычные речи дедов, отцов и всегда служили началом для иных речей.

– Зря трётесь, ребята, в город надо уходить, на фабрики, – негромко и раздумчиво гудел он. – Там народ рабочий грамотнее, ловчей, богаче. Там – пестрота! А у нас: зимой бело да морозно, летом зелено да знойно. В одну пору – снег, в другую – пыль. Эдак-то жить не больно охота. В городе человек может цену себе поднять, а здесь: ты – на гору, сосед – за ногу. Вот Лобов начал сад разводить, а вы, ядрит вашу долю, все посадки у него выдергали. У нас состязание неправильное: состязаются для того ради, чтоб один выше другого не лез, все должны одинаково картошку есть. В городе – там всякий ярится другому на плечи вскочить, там – не зевай! Васька Гогин улицы мостит, брюхо отрастил, у него под рукой более полусотни людей ходит, а когда он парнем был, я ему, дураку, морду бивал, как хотел.

Солидные люди считали Сераха смутьяном, вредным человеком, и Влас Белкин внушал парням:

– Вы Серёжку не слушайте, он – дурак и всё врёт.

– А какую неправду говорит он? – спросил бойкий подпасок Костяшка.

Белкин ответил:

– Правды много, её – как васильков во ржи. Случайно и дурак правду сказать может, однако учат добру не дураки, а старики.

Белкин – небольшой, сытенький, круглоглазый, горбоносый, похож на филина. Он держал лавочку, скупал у мужиков и баб лапти, корзины, всякое рукоделье, платил керосином, сахаром, чаем, нитками, иглками и всякой мелочью. У него было два сына – один в солдатах, другой работал грузчиком на Волге и уже третий год не являлся на зиму в деревню. Румянорожий Белкин тихонько покашливал, притворяясь нездоровым, но, овдовев с год тому назад, усердно сватался к Левашевой Христине, одинокой женщине, не любимой деревней. Не любили её за то, что она пренебрегала парнями, да и вообще мужики не пользовались её благосклонностью.

В прошлом жизнь её была несчастная, потом стала тёмной. Отец, коновал, выдал её замуж за слесаря в затон на Оке, но вскоре пьяный утонул вместе с зятем. Христина, родив ребёнка, умершего через месяц, пошла в кормилицы к каким-то дачникам, уехала с ними в город, и лет десять о ней не было «ни слуха ни духа», а потом она вдруг явилась, солидная, красивая, с нахмуренным лицом, дерзкая на слово. Поставила себе уютную избёнку в два окна, развела огород и, когда надо, нанимая работать развесёлую бобылку Дуняшу Котомину, жила одиноко, не очень прительствуя с бабами,

но охотно принимала в гости, всегда вдвоём, Сераха и бывшего грузчика Лобова, чернобородого мужика с отрезанной ступнёй левой ноги, прозванного Однопятым. На святки, на пасху к ней приезжала из села старушка учительница и будто бы учила Христину грамоте – над этим в Дубовке посмеивались. В сватовстве Белкину она отказала и, должно быть, обидно. Он после этого начал рассказывать, что Христина три года сидела в арестантских ротах, а после того занималась стыдным ремеслом в публичном доме. Зная, что Белкин ни о ком, кроме себя, не умеет сказать доброго слова, ему вообще не верили, но рассказы о Христине многие приняли как правду, – Белкин был в дружбе с урядником. Однажды Христину пробовали ограбить, но она вовремя проснулась и поранила чем-то грабителя, – он ушёл, оставив кровавый след. Другой раз парни вытоптали ей гряды в огороде, после этого она явилась на сход и сказала:

– Вот что, миряне, я – баба сильная, если поймаю которого из ваших балбесов, убью!

Сказала так, что поверили: убьёт. А приятели её, Лобов и Серах, обещали парням кости переломать. Христину оставили в покое, но ещё более крепко невзлюбили.

– Под барыню живёт, сука!

Три года Дубовка судилась с монастырём, который не уплатил крестьянству 1607 рублей за купленную у него часть выгона с оврагом, за работу по устройству в овраге плотины

и очистку двух прудов. Иск свой Дубовка проиграла – монастырь доказал, что земля была пожертвована ему крестьянством, а за работу уплачено им хлебом и скотом. Судились четвёртый год с помещиком Красовским, который вырубил у крестьян берёзовую рощу, выкорчевал порубку и начал сеять на ней лён. У Красовского оказались какие-то планы и документы, из них явствовало, что дубовцы двадцать шесть лет ошибочно считали рощу своей.

Влас Белкин нашёл адвоката, который вёл дела Дубовки бесплатно, из «милости к ближним», из «желания послужить народу», а может быть, потому, что дразнил начальство своим либерализмом. Платили адвокату по 50 рублей за поездки в Москву в судебную палату. Деньги эти собирал с деревни Белкин, себе он тоже требовал на поездки в город к адвокату полтинник в сутки. Дело с Красовским кончилось в сентябре 83 года – в неурожайный год, о котором говорилось в начале этого очерка. Судебная палата постановила: «В иске крестьян деревни Дубовки отказать, возложив на них судебные и за ведение дела издержки».

Печальное решение это привёз Белкин тёплым и ясным вечером, – привёз его на новой, только что купленной лошадке, такой же кругленькой и сытой, как он сам. Тотчас вслед за ним прискакал урядник Сашура Кашин, тёмненький, как цыган, сухощавый и чрезвычайно важный воин в синих очках, с саблей на левом боку, с толстеньким револьвером в чехле на правом, со шпорами на каблуках щеголь-

ских сапог. Староста Дубовки Софрон Грачёв лежал в городе в больнице – ему вырезали грыжу. Сашура быстро созвал сход и высочайшим тенором строго прочитал копию постановления палаты с крыльца лавки Белкина.

Мохнатые лица мирян одеревенели, головы уныло понурились, и некоторое время все молчали, как бы не дыша. Потом Христина Левашева сказала громко и насмешливо:

– С волком кобыла тягалась – хвост да грива осталась!

Сашура, грозя пальцем, напомнил ей:

– Гляди, против закона говоришь!

Христину поддержал солдат Ераков:

– Судились тараканы с петухом. Я вам, дурное племя, говорил – бросьте!

Крестьяне стояли и сидели на земле, ошеломлённо, молча поглядывая друг на друга, вздыхая, тихонько крикая. Урядник шептался с Белкиным, стоявшим рядом с ним. Серах громко откашлялся и спросил «ни к селу ни к городу»:

– Белкин, чего это ты коня купил на зиму глядя?

Лавочник вздёрнул голову, точно его снизу в подбородок ударили невидимой рукой, и, мигнув круглыми глазами, торопливо закричал:

– Здравствуйте! Купил – значит, надо! При чём здесь конь? Тут вопрос: издержки с нас взыскиуют, поняли? Платить издержки-то надоть!

Десяток голосов сразу крикнул:

– Чем платить?

- Много ли?
- Будя, плачено!
- Не платить, мать...
- Четыре года платили...
- Братцы, что же это, а?
- Грабёж!
- Какая сумма?

Топнув ногой, урядник заорал:

- Тише, стадо!

Но уже голоса мужиков и баб слились в сплошной рёв, стон, толпа закачалась, точно земля поплыла под ногами людей, они хватали друг друга за руки, за плечи, за пояса. Сашура, стоя за спиной Белкина, кругло открыв рот, шевеля тараканьими усами, тоже кричал, размахивая рукой над плечом лавочника, как бы добавляя ему третью руку. Но, не слушая криков начальства, не глядя на него, миряне рычали и ревели, яростно поливая друг друга густейшей матерщиной, уже свирепо взмахивая кулаками.

- Уходи, драться будут, – предупредил Лобов Христину.

- Пускай, – сказала она. – Ничего.

– Говорили вам: мириться надо с Красовским, – неистово, истерически завывала какая-то женщина.

- Верно! Ераков говорил...

- Триста рублёв давал Красовский? Давал?

- А сколько просудили?

Тут снова раздался трубный голос Сераха:

– Нет, узнать бы, зачем это Белкин коня купил?

И вслед за ним пронзительно закричала Христина:

– Ну, чего друг на друга скалитесь, как псы голодные, ну?

– Молчать тебе, курва! – рявкнул кто-то.

Но она продолжала:

– Полсотни-то, которые собраны на адвоката, Влас Васильев, добросердечный, с урядником Сашурой разделили...

В толпе дважды истерически крикнули:

– Стой, братцы!

– Тиш-ша!

И в наступившей тишине Христина надсадно продолжала:

– У Авдотьи они, пьяные, деньги делили. Вот она, Авдотья! Дуняша, верно?

– Ну да, – очень тонко и внятно ответила Авдотья.

– Ах ты, стерва, – взвизгнул урядник, оттолкнул Белкина, держась одной рукой за эфес сабли, а другой за револьвер, стоя фертотом и подрагивая левой ногой. – Ах, непотребная...

Кто-то угрюмо спросил:

– Ты, дура, чего же молчала?

Авдотья повела плечом, отвечая:

– А кто бы мне поверил? И какая мне прибыль? Не один раз они делили деньги-то...

С этого и начался бунт дубовских крестьян. Кто-то ударил Авдотью, она пронзительно взвизгнула, и визг её как бы дал команду людям. Человек десять, как один, бросились на крыльцо, лёгонький урядник подпрыгнул в воздух, хватая

его руками, и тотчас исчез под ногами людей; Белкин вцепился в дверь лавочки, выкрикивая:

– Православные... братцы... Стойте! Миром надо...

Его оторвали от двери, бросили на землю и, побрякивая, матерно ругаясь, стали топтать ногами. Над густым месивом людей, каждый из которых стремился хоть разок ударить лавочника или урядника, высоко взлетел чехол револьвера с хвостиком и был пойман длинной рукой Сераха. Две берёзы стояли перед избой Белкина, вечерний ветер срывал с них листья, жёлтые бабочки кружились над людьми. Прислонясь плечом к стволу берёзы, ласково глядя, как бьют, Серах раскачивал револьвер на ремне. Христина, стоя рядом, заботливо предупредила:

– Взгляни, не заряжен ли? Я намедни сказала Дуняше вынуть заряды-то. Они в барабанчик такой вденуты, шесть... – Говорила она спокойно, как будто не слыша и не видя, что творится кругом её. Нестерпимо режущими ухо голосами отчаянно выли бабы, уговаривая мужей идти, бежать домой. Мужики, отталкивая их, лезли в драку, точно пьяные.

– Да уйди от греха, чё-орт!

– Убивают ведь...

– Господи! Что будет?

– На каторгу захотелось, чертям...

– В самом деле, не убили бы, – сказала Христина, глядя куда-то через головы людей. – Поди-ка, останови...

Раскачиваясь больше, чем всегда, Серах шагнул к свал-

ке и, хватая людей за шивороты, за руки, обнаруживая большую силу, начал разбрасывать их:

– Будя, будя! Учи, да не переучивай, а то ещё дурее станут.

– Ограбили, разорили! – заорал в лицо ему растрёпанный мужик, страшно выкатив налитые кровью глаза.

В стороне тощий подпасок Костяшка, притопывая, точно собираясь плясать, горячо говорил что-то пятку парней. Старуха мать дёргала его за подол рубахи и ныла:

– Не лезь, Коська, в чужое дело, Христа ради! Уйди-и... Пропадёшь! Христинушка, ты – разумная, отговори их, поджечь чего-то хотят!

Становилось тише, крестьяне разбились на мелкие кучки. Яркая заря осеннего вечера горела в небе, облака поплыли торопливей, сыровато-тёплый ветер втекал с поля в улицу, гуще падал жухлый лист с деревьев.

У крыльца лавочки, упираясь руками в ступени, завалив корпус назад, тяжело дыша, сидел урядник в мундире с надорванным воротником, оторванными пуговицами. Без очков, опухшее, измазанное кровью, запылённое лицо его стало совсем чёрным и слепым. Он икал, кашлял, плевал кровью и слёзно вскрикивал:

– Закон накажет. За казенные вещи... Револьвер украли... отняли, это – разбой! Не беспокойтесь... За казённую вещь строго взыщут...

Первые пьяными явились на улицу братья Плотниковы – Митрий, семь лет работавший батраком у попа, весёлый, ма-

ленький мужичок, отличный певец и знаток церковной службы, и коренастый благообразный Василий, известный в крае охотник, тоже певун, неуёмный пьяница, как и брат его. Шли они обнявшись, налаживались петь и мешали друг другу, не соглашаясь, какую песню начать. Остановясь перед урядником, Митрий плюнул под ноги ему, помолчал, глядя на лысую голову брата, и звонким тенорком затянул:

– «Тело злобы богопротивное отроцы божествении обличиша».

Брат, кивнув головой, рявкнул:

– «Явите, вопия, тело мое...»

– Врёшь, – сказал Митрий, – это из другого ирмоса...

– Сам врёшь...

К ним подошёл Серах, пошептался, посмотрел на Сашуру и сказал ему:

– Ты чего выставил себя на посмеяние? Иди к старосте в избу. Иди-ко! Можешь?

Урядник молча встал на ноги, пошёл, держась в тени. Трое мужиков, посмотрев вслед ему, вошли в лавку, а какая-то женщина тревожно закричала на всю улицу:

– Эй, эй, глядите-ко, Серёжка-то...

Лавку опустошили с невероятной быстротой. Всё, что можно съесть – воблу, окаменевшие баранки, какие-то рыжие железные пряники – честно собрали в три корзины для общего пользования. Плотниковы и Серах нашли пять четвертей водки, торжественно вынесли всё это за околицу на

берег Юлы, и человек сорок расположились цыганским табором для пира. Но уже сильно стемнело и явилась потребность в огне. Тогда кто-то предложил для костра разобрать крыльцо лавки, парни живо сбегали, разобрали, оказалось мало, сняли ворота, прихватили для растопки несколько связок лаптей.

До полуночи всё съели, выпили, мирно и благодушно, без ссор, без обид, посидели у огонька ещё некоторое время. Братья Плотниковы согласно и вполне к месту запели было «Мира человека обновление», но дальше не пошло – у Василия загорелась штанина. Некоторые уже уснули, другие разбились на группы, и в одной из них однопятый Трофим Лобов, не очень пьяный, сокрушённо и угрюмо говорил:

- Ошиблись маленько. Не надо было имущество трогать.
- Это – верно. Бить – можно, а разорять – нельзя.
- То-то и оно.

Лобов помолчал и догадался:

- А водка ещё должна быть где-то.
- У Дуняши наверно есть.
- Дуня, скажи правду!

– Под клетью у Белкина ищите, – сказала Авдотья. – Ведь я у него беру, а не сама водку-то делаю.

Грузчик встал и пошёл в деревню, странно втыкая в землю изуродованную ногу. За ним, покашливая, увязался какой-то маленький мужичок, а оставшиеся трое благоразумных деловито начали вспоминать ход событий.

– Кто первый Сашуру ударил?

– Будто Серёжка.

– Не-ет, не он!

– Тогда Плотников.

– Который?

– Васька.

– На Василье не отыграемся, его губернатор на охоту выписывает.

– Лобов драться любит...

– Н-да, он – любит.

В стороне от этой группы сидели Христина, Костяшка, Авдотья и двое парней, над ними возвышался Серах. Седалицем ему служил пень, вымытый весенней водой, похожий на огромного паука. Тыкая в воздух чубуком трубки, Серах гудел:

– Рассказать – просто, доказать – трудно, вот что! Доказывает цифра, число. Без числа ничего нельзя понять.

– В людях? – спросил Костяшка.

– И в людях. Один – есть один. Это – не число.

– Воры люди, – вставила Христина, достав из-под подола юбки бутылку, оглядываясь и наливая водку в чашку без ручки. – Либо воры, либо нищие.

Серах взял чашку из руки её, подул на водку, выпил, курнул и сказал:

– Не осуждай! И воры и нищие – на дешёвку живут. Без радости.

– Это – врѣшь. У воров – радость есть, – сердито возразила Христина. Серах махнул на неё рукой.

– Брось! Не всегда пляшут от радости.

– Не понимаю я разговора вашего! – с досадой и тоскливо заговорил Костяшка. – Люди вы умные, а загадками играете. Говорили бы просто. А то понять ничего нельзя.

Христина, позевнув, предостерегла его:

– Понимать не торопись, а то ошибѣшься в понятии.

– Такая скука – удавился бы, ей-богу! – напористо продолжал Костяшка. – Даже хлеб есть скушно. Живѣшь, как чиж в клетке. Ещё летом ничего, а вот зима подходит. Волкам позавидуешь...

– Иди в город, – сказал Серах. – Помаешься там, ну с пользой для ума.

– Помаешься да и сломаешься, – добавила Христина и засмеялась, а потом сказала: – Шучу я. Иди, иди, ничего! Город научит... калачи есть. Вот иди со мной, я утром в затон пойду.

Воротился Лобов и его провожатый, принесли ещё семь бутылок водки и с ней радость людям, все заговорили громче, веселей. Костёр вспыхнул ярче, огонь острыми когтями, быстро хватая воздух, рвал темноту, как дым.

Луну стерли облака, ночь потемнела, люди, выпив, уходили в деревню, осталось десятка полтора, но эти неугомонно сидели до рассвета, а на рассвете кто-то восторженно закричал:

– Глядите – Красовский горит!

Крик этот как будто отрезвил людей, все вскочили, глядя на зарево в облаках, покрикивая:

– Ага, наказал бог вора!

– И-эх, ты-и!

Но радость погасили чьи-то угрюмые слова:

– Бог пожары летом зажигает. По зареву-то видно, что не усадьба горит, а сено на лугу. Стало быть, подожгли сено.

– Не наши ли ребята?

Говоря, люди уже шагали в сторону зарева и с каждой минутой быстрее, как будто пожар, становясь ближе, с большей силой тянул их к себе. Легконогий Митрий Плотников, идя впереди, оглядывался и, размахивая руками, увещевал:

– Давайте уговоримся: ежели Красовский там, сукин сын, не будем задирать его, а побалакаем по-соседски, добренько, может, он согласится заплатить нам чего-нибудь...

– Так заплатит, что все заплачем, – мрачно сказал Лобов.

Поднялись на бугор к ветряной мельнице, и стало видно, что горят два стога сена. Один стог снизу доверху был ярко одет в золотисто-красную парчу, около него чёртиками прыгали трое людей, тащили что-то, кричали; другой горел дымно, невесело; сквозь дым нехорошо просвечивали красные, мясные пятна. В сторону от него уходила крупная белая лошадь, запряжённая в беговые дрожки, был слышен крик:

– Стой! К-куда, дьявол...

Лобов приостановился, поглядел на лошадь и быстро по-

шёл наперерез ей, а Митрий Плотников, замедлив шаг, обернувшись к деревне, одобрительно сказал:

– Ползут наши!

Да, из деревни рассеянно шагали мужики, человек пять, и всё – люди, огонь, дым, рассвет – тянулось медленно, как бы хотело совсем остановиться. Но вдруг всё пошло иначе. Лобов перенял лошадь, разобрал вожжи, сел в дрожки и погнал навстречу своим, заорав диким голосом:

– Ребята, ломай дрожки! Пусть ему, дьяволу, убыток будет!

Это лёгкое дело было сделано в две-три минуты, белая лошадь вырвалась из толпы и стремглав помчалась к ограде усадьбы, влача по земле оглобли. Лобов, сидя на земле, кричал, выламывал железинкой тонкие спицы из колес, мужики топали ногами, ломая дерево дрожек, гнули железные части, поругиваясь, покрикивая, кто-то пожалел:

– Эх, топора нет!

Митрий Плотников, спрятав за пазуху какие-то обломки, смотрел на усадьбу, восхищаясь:

– Красота!..

Над деревьями сада возвышалась острая фигурная крыша двухэтажного дома с башенками, балконами, со множеством окон, на стёклах, замороженных ночью, серых, как лёд, уже розовато поблескивала утренняя заря.

Вдруг из-за угла ограды выскочил на длинном бронзовом коне Красовский, широколицый, с добротной бородой куп-

ца, в дворянской фуражке, – красный её околыш удлинял его лицо, но белая тулья срезывала голову так, что казалось: головы-то Красовскому всё-таки не хватает. Он скакал, звучно шлёпая по лошадиным ляжкам плетью, наехал на людей и, ловко повёртывая коня, матерно ругаясь, стал хлестать плетью уже по головам и спинам мужиков, приговаривая:

– Поджигать? Л-лавки грабить? Мерзавцы... Воры! Ага-а!

Люди бросились бежать, но Лобов схватил всадника за ногу, сдёрнул с коня и, распластав Красовского по земле, сел на спину его, сунул ноги свои под мышки ему и, придавив затылок ладонью левой руки, правой стал медленно размахивать в воздухе. Красовский хватал и царапал руками землю, бил пятками в спину Лобова, а грузчик кричал:

– Идите сюда, эй!

Митрий Плотников подбежал первый и удушливо забормотал:

– Трифон, побойся бога! Что ты делаешь? Господи...

Кто-то благоразумно посоветовал:

– Так ему неспособно говорить, надо перевернуть мордой вверх.

– Правильно.

Перевернули. И, глядя в раздутое, выпачканное землёй лицо, Серах ласково спросил:

– Ты что же это, Владимир Павлыч, дерёшься? Налетел, наскочил и без доброго слова – плетью хлещешь? Не годится

эдак-то! Мы – не скот. Мы тебе зла не сделали...

Красовский, всхрапывая, как лошадь, стирал с лица, с бороды землю и молчал.

– Высудил с нас дело-то да с нас же издержки ищешь, – заговорили мужики.

– Да-а...

– Теперь нам осталось по миру идти.

Красовский молчал, поглаживая кисть руки, потряхивая головой. Митрий Плотников пытался выправить на своём колене измятую дворянскую фуражку и бормотал:

– Сердиться не тебе надо, Владимир Павлыч, мы – обиженные, нам полагается сердиться-то. Ушиб ручку-то? Тот-то.

Кто-то заметил:

– Мяса много, а косточки тонкие...

– Убить его надо, – хрипло сказал Трифон Лобов.

– Что вы хотите? – глухо спросил Красовский, не глядя ни на кого.

Мужики дружно загалдели:

– Мы хотим миром кончить.

– Издержки платить нет сил у нас!

– Не будем, так и знай!

– Стыдился бы нищих грабить.

– Чего вы хотите? – повторил помещик.

– Не согласны мы с твоим судом.

– Планы твои – фальшивые, вот что, барин...

– Мошенству учат вас...

Красовский осторожно поднялся на ноги и, оглядывая всех невидимыми из-под густых бровей глазами, заговорил с хрипотцой, покашливая:

– Всякое дело можно миролюбиво решить. А вы сено подожгли.

– Не-ет, – закричал Плотников с радостью. – Нет, мы сено не поджигали! Присягу дадим. Мы на пожар пришли...

– Помочь чтобы, – уныло сказал кто-то.

– Думали – усадьба горит.

– За сено не отвечаем.

– Спроси своих – они у стогов были, когда мы пришли.

– Дрожки разбили, – сказал Красовский.

Плотников подал ему фуражку, говоря не совсем уверенно:

– Дрожки – это лошадь будто разбила...

Мужики молча посмотрели на Лобова, он потрянул головой.

– Ну, чего врать? Как малые ребята. Я дрожки изломал. К чёртовой матери...

– Вот видите, – сказал помещик и шагнул в сторону усадьбы, перед ним расступились. Тогда он пошёл увереннее, быстрее, помахивая платком в красное лицо своё, держа в руке фуражку, и сказал:

– Дым какой едкий...

Это была неоспоримая правда: потянул утренний ветерок

и окутал людей густым облаком серого дыма. Митрий Плотников, шагая рядом с барином, поддержал его:

– Сено ещё ничего, а вот солома совсем ядовито дымит. В Орловской губернии в некоторых деревнях соломой печи топят, а избы-то курные, печи без труб, для пушей теплоты, дым-то прямо в избу идёт – беда! Очень глаза страдают от этого...

Сзади словоохотливого мужичка и внимательно молчавшего барина шагало, перешёптываясь, человек десять, а другие, постепенно отставая, на минуту останавливались в поле, точно часовые, затем собирались в кучки, спрашивая друг друга:

– Обманет?

– А как знать?

– Они, господа, капризные...

– Н-да...

– Им и добро сделать недорого стоит.

Лобов дошёл до остатков дрожек, постоял над ними, взял колесо, швырнул его, оно немножко покатилося и легло. Он взял другое, приладился, пустил его. Это колесо, подпрыгивая на кротовых кочках, укатилось дальше. Почёсывая грудь, Лобов медленно пошёл в деревню. Выходило солнце, мужик шёл против него, нахмутив тяжёлые брови, пряча серые сердитые глаза.

Двое суток Дубовка прожила в тревожном и унылом ожи-

дании каких-то событий, но события не торопились, и жизнь текла надоедливо медленно. По утрам кое-где сухо барабанили цепи, молотя рожь, – собрали её по 12–15 пудов с десятины. Вечерами скучно выпивали у кого-нибудь в овине, и Серах, пошевеливая пальцами в плотной бородище, размышлял:

– Лето было вредное, а осень – на-ко, вот! Праздник какой выдался. И всё так...

– Что всё? – спросили его.

– Несогласно в жизни, – объяснил он.

Белкин исчез куда-то, Василия Плотникова вызвали на охоту, ушла Христина, Глухонемой брат старосты Грачёва забил дверь лавки Белкина досками, закрыл окна ставнями и сидел на завалинке, не подпуская к лавке мальчишек, грозя им палкой и мыча, как бычок.

На третьи сутки утром мальчишки подняли тревогу, закричав:

– Солдаты идут!

Деревня настороженно притихла.

Въехал с поля верхом на сером коне толстый, круглолицый офицер в очках, со смешной крохотной бородкой под нижней губой, за ним по четверо в ряд вошла колонна солдат и походная кухня с длинной трубой, похожая на огромного гуся. Офицер приказал мальчишкам позвать старосту. Они объяснили:

– Староста в больнице, помирает, ему брюхо взрезали.

Офицер строго крикнул:

– Зовите, кто у вас тут старший?

Мальчишки живо привели солдата Еракова, он встал во фронт, отдавая честь, и выслушал приказ:

– Чтоб ни одна душа из деревни не выходила, а к полудню собрать всех взрослых – понял?

– Так точно.

– Солдат?

– Так точно. Севастополь защищал.

– Сколько лет тебе?

– Восемьдесят два.

Ераков покосился на врагов своих – мальчишек и вполголоса заговорил:

– Осмелюсь доложить вашему благородию – народ здесь от мала до велика вор и буян...

– Ну, иди, старик! Марш! – сердито сказал офицер.

Оставив половину солдат на улице, другую он растыкал по одному вокруг деревни, по огородам. Солдаты были не страшны: мелкорослые, пыльные, в стареньких, потёртых шинелях, а сапоги почти на всех новые, рыжей кожи.

– Это что же будет? – спрашивали миряне друг друга, выходя на улицу, рассаживаясь по завалинкам и посматривая на серое войско. Митрий Плотников торопливо и успокоительно объяснял:

– Обыкновенная маневра, как полагается осенью на случай войны. Государи любят зимой воевать, когда народу сво-

бодно. Ну, вот эти, значит, вроде как бы взяли нас в плен, а другие придут вышибать этих...

– Врёшь! – радостно покрякивал Ераков. – Это пороть вас будут, пороть...

– Когда ты, Ераков, лопнешь со зла? – спрашивали его, не веря историческому опыту защитника Севастополя.

Офицер ушёл в избу старосты. У Софрона Грачёва был самый большой самовар из четырёх медных в деревне, остальные чаепийцы пользовались дешёвыми жестяными. Войско развалилось в верхнем конце деревни на земле, как овечье стадо, над ним колебались зеленоватые струйки махорочного дыма и лениво крутился серый дым походной кухни.

Дубовцы пытались заговаривать с солдатами, но какой-то с саблей на боку унтер или фельдфебель свирепо отгонял их прочь. Серах пробовал побеседовать с часовым, но часовой, не подпуская его к себе, закричал:

– Назад!

– Да мне вот к речке!

– Назад! – повторил часовой, неприятно пошевеливая ружьём.

В деревне стало необыкновенно тихо, даже собаки забыли, что на чужих следует лаять, и не кудахтали куры, припрятанные догадливыми бабами. Тепло и ласково сияло солнце, освещая дубовцев на завалинах, точно нищих на церковной паперти. К полудню улица опустела, народ разбрелся по избам обедать, солдаты тоже занялись этим делом. А почти

тотчас после обеда, откуда-то сверху, как будто с крыши, пугливо крикнули:

– Еду-ут...

– Стройся, – приказал воин с саблей на боку. – Губернатор едет, – сказал он кому-то.

Со двора Грачёва выбежал офицер и скомандовал:

– Смир-рно!

Солдаты вскочили, построились, одеревенели, и в деревню въехал губернатор. Приехал он не в гости, а, видимо, по делу, и не один, а в сопровождении четырёх конных полицейских. Рядом с ним в коляске сидел толстый важный человек с круглым и усатым лицом старого кота из богатого дома. Губернатор выскочил из коляски лёгкий, тонкий, серый, вытер платком лицо, обмахнул серебряную бородку и, здороваясь с офицером, громко сказал:

– Надо было на колени поставить...

– Не имел приказания, ваше превосходительство.

– Ну да, я знаю! Это должен был исправник, но я его обогнал.

Затем губернатор, офицер и усатый человек ушли в избу старосты, а кучер губернатора тихонько двинул страховидных лошадей вдоль улицы, – лошади шли, высоко поднимая сухие, гладкие ноги, зверски оскалив зубы, фыркая, брызгая пеной и поглядывая на людей искоса, свирепо, глаза их были налиты кровью и внушали уныние.

Некоторое время спустя бешено примчался в облаке пы-

ли ещё экипаж, в нём сидели исправник², становой пристав³, старуха в сером платье с красным крестом на груди и красной перевязью на рукаве, их сопровождали трое урядников⁴ верхом. И наконец бойкая пёстрая лошадка прикатила бричку с грузом, зашитым в рогожу. Затем всё двинулось так быстро, как будто поехало с крутой горы.

Полицейские, согнав дубовцев в кучу, выравняли их в два ряда, и один, с медалями на груди, приказал:

– Становись на колени!

– И бабы? – спросил Серах.

– Я те поговорю, – крикнул полицейский, а другой деловито повторил:

– Все на колени становись!

Дубовцы зашевелились, переглядываясь, толкая друг друга, и все стали почти наполовину короче. Урядники вынесли со двора Грачёвых широкую скамью, поставили её среди улицы, попробовали – прочно ли стоит? Стояла прочно. Рыжебородый полицейский очень осторожно положил в конце скамьи большую охапку прутьев.

– Вон как, – сказал Серах, вытягиваясь в переднем ряду, и вздохнул:

² Глава уездной полиции; подчинён губернатору – *Ред.*

³ Чиновник уездной полиции, заведующий в полицейском отношении станом, определённой частью уезда; подчинён исправнику – *Ред.*

⁴ Полицейские, нижние чины уездной (сельской) полиции, подчинённые становому приставу – *Ред.*

– Бабы, вы становитесь сзади нас.

– Молчать! Не шевелись! – закричал полицейский с медалями.

Со двора старосты вышло гуськом начальство, впереди – губернатор, за ним исправник, офицер, становой и штатский, похожий на кота.

Губернатор стройный, тонконогий, аккуратно обтянут серой коротенькой курточкой, в штанах с красным лампасом, в лакированных сапожках. Лицо у него узенькое, тоже серое, под седой квадратной бородой сверкало что-то красненькое, похожее на крест, на нём было много золота, а лакированные ноги казались железными, шёл он быстро, легко, точно по воздуху, и было ясно, что это человек особенной силы и беспощадной строгости. Остановясь посредине фронта дубовцев против Митрия Плотникова, он закричал пронзительно, как павлин:

– Н-ну, что, мерзавцы? Бунтовать, а? Негодяи! Дармоеды! Недоимщики!

Плотников кувырнулся в ноги ему и заныл, выпрямляясь, приложив тёмные руки ко груди своей:

– Ваше сиятельство, преподобный... господин граф, простите Христа ради! Действительные дураки... виноваты... разорились до конца, не дай бог.

Вслед за ним завыли бабы, забормотали, закричали мужики:

– Обидели нас!

- Прости покровá ради.
- Темнота наша...
- Разорены вконец!
- Хоть помирай...
- Смутьяны тут ещё...

Губернатор стоял, дрыгая правой ногой, под седыми его бровями грозно блестели глаза, необыкновенные, золотистые, точно чешуя фазана.

– Молчать, идиоты! – снова закричал он. – Я вам покажу, как бунтовать. Налогов не платите, а пьянствуете, дебоширите... Я вас выучу!

Его серое, как бы запылённое лицо потемнело, он широко открывал рот, показывая золотые клыки, и грозил то кулаком, то пальцем, тонким и длинным, точно гвоздь. Его хорошо освещало солнце, и при каждом движении губернатора от его зубов, погон, пуговиц, перстня на пальце отскакивали золотые лучики, – можно было подумать, что он насквозь прошит золотом. Он сверкал, гремел, и смутно вспоминались какие-то сказки о страшных людях. Дубовцы, перестав ныть и понурясь, слушали бешено быстрый гон его слов.

– Государь император... в заботах о вас, подлецы... министры, архиереи... губернаторы ночей не спят, – кричал он, притопывая ногой. – Вам на каторге место! Но прежде я вас перепорю.

Сняв фуражку, он обнажил дыбом вставшие седые короткие волосы, вытер виски и лоб платком и хрипло скомандо-

вал:

– Начать!

Становой пристав поднял к лицу бумажку и прочитал:

– Трофим Лобов.

Офицер, протирая очки платком, сказал исправнику:

– Следует ли детям смотреть, как секут родителей?

Исправник приподнял толстые усы, надул щёки, но – не успел ответить, – губернатор строго сказал:

– Детей тоже надо сечь!

Но тотчас же распорядился:

– Разогнать мальчишек по дворам и смотреть, чтоб не высовывались в окна-а! В чём дело, пристав? Где этот вызванный?

Двое полицейских уже подвели Лобова к скамье.

– Раздевайся.

– Нет сил со страха, – спокойно сказал Лобов. – Снимайте штаны сами, коли это нужно вам.

Пристав сказал губернатору:

– Ваше превосходительство, он упорствует, не хочет...

– Ещё бы он хотел! Дать ему десять лишних! Нет, барабана не надо, поручик, мы – без церемоний! Мы – просто, да!

Лобов лёг вдоль скамьи, вытянув шею за край её и упираясь в край подбородком. Двое полицейских, откинув корпуса, держали его за руки и за ноги, как будто растягивая человека. Казалось, что именно от этого красноватые ягодицы грузчика так неестественно круто вздулись. Солнце освеща-

ло ягодицы так же заботливо, как губернатора и всё другое.

– Раз, два, три, – торопливо и звонко начал считать становой тихий свист в воздухе и сухие шлепки прутьев по человеческой коже, но губернатор хозяйственно сказал:

– Не так часто, реже!

Лобов молчал, лёжа неподвижно, только мускулы под лопатками вздрагивали. Кожа его покрылась тёмно-красными полосами, а к последним ударам покраснела сплошь, точно обожжённая. Когда кончили сечь его, он так же молча спустил со скамьи ноги, сел, тыкая в землю изуродованной ногой, растирая ладонями подбородок и щёки, туго налитые кровью.

– Котомина Евдокия, – вызвал пристав.

– Не пойду, – закричала Авдотья, вырываясь из рук урядника, схватившего её сзади за руки. Лобов, поравнявшись с нею, сказал:

– Упрись подбородком в край скамьи – кричать не будешь.

Но она уже кричала:

– Бесстыдники... Да что вы? Не хочу...

Урядник толкал её коленом в зад, головой в плечи. Ему помогли, но перед скамьёй Авдотья снова начала сопротивляться, выкрикивая:

– Ваше благородие, избавьте срама. Прошу же я вас.

– Живее! – резко приказал губернатор.

Авдотью уже притиснули на скамью, но она всё ещё извивалась, точно щука, и, только когда обнажили ноги, спину её

– замолчала на минуту, но после первых же ударов начала выть:

– За что-о? Мучители...

– Гляди-ко ты, – пробормотал Плотников, толкнув локтем Сераха. – Дуняшка-то – стыдится! А ведь бесстыдно живёт...

– Чужие, – кратко откликнулся Серах.

Начальство очень внимательно рассматривало, как на стройном, желтоватом, точно сливочное масло, теле женщины вспыхивали розовые полосы, перекрывая одна другую. Тело непрерывно изгибалось, толкая и покачивая полицейских, удары прутьев падали на спину, на ноги, полицейские встряхивали Авдотью и шлёпали ею по скамье, как мешком.

– Довольно, – крикнул губернатор на двадцатом ударе, но полицейский не удержал руку и ударил ещё раз.

Авдотья вскочила на ноги, оправила юбку и побежала прочь, подняв руки к голове, пряча растрёпанные волосы под платок.

Вызвали Плотникова. Этот пошёл, растёгивая на ходу штаны, криво усмехаясь, говоря:

– И не знаю, какая моя вина? Человека нету смиреннее меня!

– Ваше сиятельство, – плачевно закричал он, сняв штаны и падая на колени, – брат мой, Василий, верой-правдой служит вам – всеизвестный охотник...

– Двадцать пять, – сказал губернатор сухо и чётко.

В начале порки Плотников аккуратно на каждый удар отвечал звонким голосом «о-ой!» Но лежал смиренно, не двигаясь, и прутья погружались в его тело, как в тесто. Только при последних ударах он стал кричать тише, не в такт ударам, а когда кончили пороть его, пошевелился не сразу.

– Вставай, – сказал полицейский, стирая ладонью пот со лба.

Плотников встал, покачнулся, лицо его дрожало, из глаз текли слёзы, шевелилась борода, он облилизал губы и сказал по привычке шута балагурить:

– Дай бог впрок!

Вызвали Христину, Василия Плотникова, – их не оказалось.

– Найти! – приказал губернатор.

Серах подошёл молча. Ему губернатор назначил сорок, и это заставило Трофима Лобова вслух и внятно догадаться:

– Список-то Красовский, стерва, составил!

Серах долго укладывал длинное жилистое тело своё на скамье и начал кряхтеть только в конце счёта. А когда кончили сечь его, он сел, покачивая головой, точно не решаясь встать, а встав, тотчас же снова шлёпнулся на скамью и, улыбаясь, сказал:

– Вон как... Ослаб всё-таки...

Снова встал, согнулся, чтоб поднять штаны, спустившиеся до щиколоток, и вдруг громко, с треском выпустил кишечный газ в сторону губернатора. Губернатор сказал что-

то исправнику, исправник взревел:

– Ещё десять этому скоту!

По лицам двух-трёх серых солдатиков солнечным зайчиком скользнула улыбка, усмехнулся Лобов, зашептали бабы, наклонив головы, исправник, свирепо нахмурясь, разгонял платком испорченный воздух, губернатор, взяв под руку офицера, пошёл прочь, а человек с лицом кота сказал:

– Это он, идиот, нарочно...

После первых же добавочных ударов из-под кожи Сераха выступила кровь, и полицейские, ударив розгой, начали отворачивать лица в сторону, должно быть, избегая мелких, точно ягоды бузины, капелек крови. Когда кончилась порка, Серах встал, коснулся ладонью зада, поднёс ладонь к лицу и сказал:

– Вон как...

– Иди, иди, – сердито посоветовал полицейский, осматривая мундир и брюки. Серах взял штаны в руки и пошёл прочь голоногим.

– Барон Таубе, – позвал губернатор. Исправник поспешно бросился к нему, и всё начальство исчезло во дворе Грачёвых.

– Молоко пить пошли, – соображал Плотников. – А может, чаёк.

Авдотья, повернув в его сторону опухшее, заплаканное лицо, гневно сказала:

– Поди, поклонись в ножки им.

Без начальства полицейские стали сечь торопливее, да и всё вообще пошло быстрее, но как будто обидней, никто уже не командовал, не угрожал, обнаружилась какая-то скука. Со дворов появлялись солдаты, которые искали названных в списке Василия Плотникова, Христину и какого-то Ивана Новикова. Митрий Плотников с радостью объявил:

– А такого у нас нет и даже вовсе не было никогда. Был Носков Ванька, так его ещё в августе свезли в сумасшедший дом.

Становой пристав равнодушно сказал:

– Смотрите, за укрывательство преступников отвечать придётся.

Все устали: солдаты – стоять в строю, миряне – на коленях, некоторые уже сидели, а высеченные лежали на земле. Ераков, несмотря на свой возраст, честно стоял, как приказано, на коленках и ворчал:

– Это разве наука? Подпаску Коське двадцать пять розог дали, а ему вдвое надобно. Не-ет, бывало драли на долгую память. Да не розгой, а палочками, палочками.

С поля наплывал холодноватый ветерок, разнося в воздухе листья, вздымая с земли пыль, фыркали лошади губернатора, где-то ударили собаку, она взвизгнула, завыла.

На огородах каркали вороны, кричали галки, в окнах изб появились рожицы детей. Курчавый парень вырвался из рук урядника и побежал вдоль улицы. Конный полицейский, охранявший коляску губернатора, ловко поставил пред пар-

нем свою лошадь, парень ткнулся в бок её, отскочил, упал, его схватили и, ударив по шее, повели, он упирался ногами в землю, гнал пред собой пыль и кричал:

– Мне – в солдаты идти... Некрут я...

– Дурак! Солдат тоже порке подлежит, – презрительно сказал Ераков, а Лобов, лёжа на боку сзади него, спросил:

– А ты, старый чёрт, не помогал Красовскому список составлять?

– Кабы помогал, я бы тебе сотню назначил, – ответил старик. Лобов легонько похлопал его по спине, говоря:

– Это ты считай за мной...

Сзади Лобова всхлипывали, жалуясь:

– Как же я теперь? Подруги смеяться будут – вышла за поротого.

– Эка беда! Посмеются да и перестанут.

– Стыдно мне будет.

– Подумаешь, какой стыд.

А солидный мужской голос добавил:

– Не по роже били, а по заднице.

– Да и рожа – не дороже, – добавил женский голос.

В воротах двора Грачёвых встал, протирая очки, офицер и что-то сказал подручному своему, тот отдал честь и длинно крикнул:

– Смир-рно-о!

На улицу вышло начальство, губернатор посмотрел на свои сапоги, пошаркал ногой о землю и заговорил громко,

неспокойно:

– Встать, негодяи! Идиоты... Ну, что, получили горячих? Так-то вас и надо. Мало ещё. Вас надо каждый месяц драть.

Он помолчал, пошептался с исправником и продолжал:

– Предупреждаю: виновные в избиении урядника Кашина при исполнении им служебных обязанностей, в избиении... этого... торговца...

– Белкина, – подсказал исправник.

– Вот – Белкина! И в поджоге сена помещика Красовского будут преданы суду.

К нему подъезжала коляска. Отдохнувшие лошади, красиво играя ногами, точно плясать собирались, взмахивали мордами, туго натягивая вожжи. Губернатор смотрел на них и лениво кричал:

– Я вас выучу, я вам на шкурах ваших!..

Он молодецки прыгнул в коляску, за ним влез коренастый исправник и толстый человек с лицом кота. Когда лошади пошли, губернатор встал в коляске и, проезжая мимо дубовцев, погрозил им пальцем. Ераков стоял, как надлежит солдату. Плотников кланялся начальству с улыбочкой, как гостю, который догадался, наконец, что ему пора домой. Горнист проиграл сбор. Из огородов, из проулков выбежали часовые, офицер похлопал лошадь свою по шее, влез в седло и сказал фельдфебелю:

– Ночёвка – там же.

Дубовцы осторожно расползались по домам. Проезжая

мимо них, офицер, наклонясь вперёд, заботливо оправлял рукою в перчатке гриву лошади. Вслед ему звучала команда:

– В ряды стройся! Не путать! Черти не нашего бога. Смирно! Ряды вздвой! Шагом – арш!

Пошли. За ними поехала кухня. Поравнявшись с Лобовым, ездовой придержал лошадей, спрашивая Лобова:

– Земляк, тут на село Василёв Майдан короче этой нет дороги?

Лобов подумал и сказал:

– Переедешь мост – свороти направо, к лесу, вёрст семь выиграешь.

– А дорога – как?

– Скатерть.

– Спасибо.

– На здоровье.

Лобов прилёг на завалину своей избы. Из окна высунулась простоволосая рыжая сестра его Акулина и спросила:

– Почто ты его в болото послал? Не проедет он там.

– А тебе что? – ворчливо спросил Лобов.

Сестра сердито усмехнулась и хлопнула окном. На улице стало пусто, тихо, казалось, что и в избах нет ни одной души. Солнце, красное, как сырое мясо, опускалось в синеватые облака. Крикливо пролетела стая галок, и снова деревню обняла вечерняя тишина.

На улицу вышла Авдотья с железным ведром в руке, остановилась, глядя из-под ладони вдаль, где на пригорок впол-

зала серая колонна войска и сзади неё покачивалась чёрная труба походной кухни.

Лобов крикнул ей:

– Я ждал, что они, дьяволы, вдобавок песню заорут!..

Авдотья не ответила.

– Журавли летят, Дуняш!

– Ну, так что? – спросила женщина.

– Зазывно курлыкают. А мне – вот некуда лететь.

Авдотья пошла к ручью.

– Что Серах, как? – крикнул Лобов.

Не останавливаясь, женщина ответила:

– Старуха эта, с крестом красным, намазала ему, завязала тряпочками. Глубоко просекли...

– Он всё-таки нашёл, как спасибо им сказать...

Авдотья зашла за угол избы, пошатнулась, всхлипнула, поставила ведро на землю и, схватив руками полу кофты, сунув лицо в неё, затряслась, рыдая беззвучно.